

В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПО НОЧАМ

Сколько себя помню, раздирало меня желание петь. И всегда ничего кроме терзаний лично мне это не доставляло. А с чего началось? Покликала меня мама домой обедать. День воскресный, за большим круглым столом собрались все: дед, бабушка, папа, мама и двоюродный брат Славка. Даже брат Игорь, отпущенный в увольнение из суворовского училища. Всё чинно и благородно. Посреди стола — супница Кузнецовского завода, тяжёлые мельхиоровые вилки-ложки, салфетки. Дед в железнодорожном кителе с салфеткой, заправленной за стоячий воротник. Но китель без погон. Игорь сидит напротив и тоже в кителе, но с красными суворовскими погонами, и также — салфетка за воротник.

Мама и бабушка в воскресных платьях, не самых нарядных, из креп-жоржета, но и не в обычных. И вот я, припозднившись — руки мыл, — вступаю в столовую. А из души рвутся песни, которые только что услышал во дворе от друга Витьки. Я выбираю маршрут к своему стулу по долгой кривой и на ходу, дирижируя сам себе, начинаю петь:

*Самолёт летит,
Мотор работает.
В кабине поп сидит,
Картошку лопают.*

— Это что такое?! — зловещим шёпотом вопрошает бабушка.

А я беспечно продолжаю, приплясывая:

*Эх, сыть. Семён!
Да подсытай, Семён!
А у тебя, Семён, да брюки
клёш, Семён!*

Мнящееся мне всеохватное восхищение вдохновляет, и я готов выдать коронную:

*Спит Розита и не чувствует,
Что на ней матрос ночует.
Вот пробудится Розита
И прогонит паразита.*

Эх, не успел. И — хорошо! Потому, что было бы вдвое больнее. А может, и втройне...

Вот и позднее, в школе, когда готовились к какому-то смотру. Приказано было петь хором. Певунья, как мы прозвали учительницу, замахала руками, раскачиваясь всем телом, будто она в волнах морских и глаза у неё

закатились куда-то под лобную кость. И я грянул во весь свой, ещё не мутировавший голос:

*То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой...*

Глаза Певуны вдруг вернулись в исходное положение. Как сомнамбула, она двинулась вперёд, раздвигая звонкоголосых зануд-отличниц. Я стоял во втором ряду. Меня и видно не было. Но я пел, и она шла на звук. Её палец уткнулся мне в грудь:

— Больше не пой, мальчик.

— Совсем?

— Совсем. Ты — врождённый музыкальный калека на оба уха.

— Я могу уходить?

И я пошёл, а вослед мне несло:

*Край родной, навек
любимый,
Где найдёшь ещё такой!*

Когда тебя обзывают калеккой, хотя бы и музыкальным, перед прилизанными отличницами и особенно перед одноклассницей Галкой Никитиной — известной певуньей! — тут, сами понимаете... Одно утешало: не будут больше заставлять под страхом «двойки» в дневник петь пионерские песни. Была в них какая-то, то ли словесная, то ли музыкальная неправда...

А петь я любил. С того же самого момента, как меня отшлёпали по известному месту, полюбил ещё сильнее. Когда отобедали, и дед выкурил послеобеденную сигаретку, вставленную в мундштук, настало время песен.

Игорь был велик, Славка тоже погрузнел — всё-таки старше меня. Я же — в самый раз. Дед подхватил меня, усадил верхом себе на плечи и зашагал вокруг стола. Он шагал и запевал нашу любимую: «Солдатушки, бравы ребятушки, а кто ваши жёны?» Я, сидя на дедовых плечах и глядя на дедов бобрлик, а брата, шагая следом в ногу, подхватывали: «Наши жёны — пушки заряжены! Вот, кто наши жёны!» Песня — мороз по коже! Дед разучил песню, служа фейерверкером на кронштадтском форте во время японской войны. Кончалась песня, заканчивалась обычно и маршировка. Но в этот раз дед продолжил и запел совсем иное:

*В двенадцать часов по ночам
Из гроба встаёт барабаник;
И ходит он взад и вперёд,
И бьёт он проворно тревогу.
И в тёмных гробах барабан
Могучую будит пехоту;
Встают молодцы егеря
Встают старики гренадёры...*

Мне сделалось страшно на дедовых плечах. Я представил раскрывающиеся могилы и мертвецов, мертвецов, мертвецов. А дед продолжал:

*И в тёмных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают.
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и запада мчатся
На лёгких воздушных конях
Одни за другим эскадроны...*

О чём пел дед, маршируя вместе с нами? О каком могучем войске? Об императоре какой Империи?

Нам никогда дома не рассказывали о наших предках. Мы явились как бы прямоком из ниоткуда. Из тьмы утраченной памяти. Из подконвойного небытия. Из страха, таящегося в глубоких подвалах, где смерть проникала в круглую дырочку в затылочной кости вслед револьверной пуле, проделывавшей это отверстие. Дед в тех подвалах побывал и чудом уцелел. Обо всём этом, о своих предках мы узнали много позже, когда деда уже не было на этом свете.

— «В двенадцать часов по ночам!» — пел дед, по-солдатски печатая шаг. Полагаю, видел он пред собой строй Русской императорской гвардии на Марсовом поле Санкт-Петербурга и слышал раскатистое, переливчивое «Ура!» войск, приветствующих императора. А мы, вослед шагу, впечатывали в память строки, написанные Василием Жуковским, и положенные на музыку Михаилом Глинкой...

Дедов баритон с хрипотцой и по сей день живёт в моей памяти.

БЫТЬ РУССКИМ...

И вот однажды дед решил, что меня можно и должно брать с собой в баню. Бабушка, конечно же, противилась, выговаривала, мол, парнишку и сама в тазу

— воды нагреет — и преспокойненько вымоет. Но разве может женщина переспорить деда? В моменты сугубого противостояния он почему-то именовал бабушку Маланьей, хотя она отродясь звалась Еленой.

— Молчи, Маланья! — отрезал дед, и бабушка смирилась, прошептавши напоследок что-то вроде: «Господисусе... ибо, не ведают, что творят».

Что касаясь меня — радости не было предела — я же уже мужчина! Какой может быть таз! А дальше началась упаковка меня во всё ненавистное, тёплое, включая платок, чуть ли ни на голову — но это фигушки! Только на плечи и под пальто. А дальше трамвай — и тёмное приземистое здание, из дверей которого при распаховании вырывался пар, на мгновение скрывая портрет товарища Кагановича, зачем-то увенчивающий вход. Помнится, бани звались Хивинскими. Раздевание, сокрытие вещей в шкафчик, приспособление верёвочной петли с ярлыком-номерком от шкафа на запястье также помню, потому что было впервые и в диковинку. Затем блуждание по залу, полному моющихся. Не вдруг, но нашлась свободная шайка, поскольку некоторые аж с тремя сидели: в одной ноге парили, в другой мыло разводили, а третью припасали с тёплой водой на обмывочку.

— А теперь в парилку! — скомандовал дед.

Я беспечально шествовал впереди, а сзади он с шайкой. Кстати, на мой вопрос: почему шайка, а не тазик, дед ответил проще некуда: «Так заведёно».

А в парной... Ох, мне сразу не глянулось это помещение. Даже внизу жарко и пахло чем-то незнакомым. Слева кирпичная стена с железной дверцей, а дальше широкие ступени, идущие наверх в темноту.

— Ого-го! — раздался голос из темноты. — С новобранцем! Пошли к нам, парень!

— Иди-иди, — сказал дед, — тебя зовут. — И легонько подтолкнул меня ладонью в спину.

Я ступил на одну ступеньку, потом на вторую — охоньки! Жарынь охватила всего, и я скатился вниз.

— Ха-ха-ха! — засмеялись наверху в темноте в несколько голосов.

— Иди, — повторил дед.

— Деда! Там жарко. Пошли домой. Меня бабушка помоеет.

— Бабушка? — загрохотало сверху. — Может, этта девчонка? Глянь: у него писюлёк есть ли?

— Деда... — совсем жалобным голосом заканючил я.

— Старшина! — вновь зазвучал всё тот же голос сверху, — дык, он, может, и не русский у тебя?

— Русский, русский. И писюлёк при нём. Иди. — И дед вновь подтолкнул меня к лестнице.

Я, может, и упёрся бы, да только насмешки по поводу

писюлька меня задела. Что я мужчина и отличаюсь от каких-то девчонок, я уже понимал и тем был немало горд.

А наверху!!! Глаза привыкли к темноте и я, поднимаясь, углядел пятерых здоровенных дядек. Двое просто сидели. А двое других охаживали в два веника пятого. Тот покряхтывал и всё приговаривал: «Братцы-славяне, не жалейте! По полной, по полной!» Я только и успел заметить, что обеих рук у него нет по самые плечи. И тут он закричал: «Эй, кто там, бзданите ещё шаечку!» Загремела железная дверца, зашипела вода на камнях, взвился пар и меня, как ветром сдуло вниз. А там дед с припасённой шайкой холоднучей воды. Жак — вода с маху на голову, остужая разгорячённое тельце.

— Дед, ещё! — И ещё одна спасительная шайка, в момент наполненная водой из толстого крана. Незабываемое ощущение! Сразу мурашки выступили.

— А теперь опять наверх, — скомандовал дед. — Быстро!

— Нееет! — Заверещал я. — Нееееет!

— Идём, идём! — опять воззвал чей-то голос из темноты.

— Нееет! Я боюсь!

— Ха! Он боится! А как ты в солдаты пойдёшь, если боишься?

— Не нужны мне ваши солдаты! Я в матросы хочу.

— Братишка! — звучал уже другой голос. — Тем более! Свистать всех наверх!

— Иди, — сказал дед.

И я пошёл. Кто-то из парильщиков легонько наподдал-наподдал мне веником. Я вновь скатился вниз под спасительный холодный водопад. А сверху кто-то неразличимый вослед гулко заметил: «Вот теперь видим, что русский».

Потом дед драил меня свежей лыковой мочалкой, и я жаловался, что мыло ест глаза. А вокруг и рядом мылись взрослые дядьки, у многих из которых тела изъедены были недавней войной. Потом из парной появился явно моряк, у которого на груди рассекал волны наколотый трёхорудийный крейсер. Затем из парной, прихрамывая, вышел и тот, что без обеих рук — весь морковного цвета.

Потом мы с дедом остывали на лавке в предбаннике, и он поздравлял меня и соседа с лёгким паром. А сосед, обращался к деду: «Товарищ старшина». И они чокались гранёными стаканчиками.

Из поездки на трамвае запомнился только толстый иней на стёклах вагона. А раздевала меня дома бабушка, выговаривая деду и за парную, и за распитие — запах она мигом учуяла. Но этого я почти и не помню, поскольку уже крепко спал на её ласковых руках.

ПОЛКАРАВАЯ

Не должен бы я это помнить по моим тогдашним малым летам.

Однако помню: поезд тот звался «Пятьсот весёлый». Тогда, в послевоенную пору, ходили поезда с таким прозвищем. Везли они солдат — армию-победительницу распустили по домам. Ехали-поспешали, но неспешно, со срывами стоп-кранов, если надо было выходить насупротив родной деревни — не тащиться же ещё пятьдесят вёрст до какого-нибудь разъезда, а потом пёхом топтать обратно. Рванут стоп-кран, поезд разом встанет, люди попадают, кружки опрокинутся, кому-то что-то на голову сверху свалится. Мать-перемать! А герой-освободитель уже бежит, побрякивая медалями, опрোметью по жнивью, прижимая рукою выгоревшую пилотку к стриженной макушке, и дела ему нет до нарушения графика движения. Пойди — поймай! Вчини штраф! Ой-ля-ля! Ой-лю-лю! Твою дивизию! Впрочем, я это не помню. Это всё папины рассказы.

Что же помню? А вот что — вагон общий. Солдаты, солдаты, солдаты... Сидят, жуют, казённую чекалдыкают, у кого запасена, думают-печалуются-радуются, дремлют, горлопанят, кто-то неумело тычет пальцами в клавиатуру роскошного трофея — немецкого аккордеона и тот в ответ белозубо посмеивается над неумехой. По проходу движется безногий солдат в гимнастёрке и пилотке. Он угнезвился на платформочке, поставленной на четыре подшипника. Пристёгнут к ней ремнём. Подшипники

верещат немилосердно. Видно, этот визг и сосредоточил моё внимание на его фигуре. Он едет, а ему подают. Кто что: пару картофелин, кусок сала, банку «второго фронта» — американских консервов. А кто-то — это помню совершенно отчётливо — отпластывает «финкой» половину белого хлеба. Не фабричного, пайкового, клёклого «кирпичика», а от большого каравая домашней выпечки со светло-коричневой верхней корочкой. Днём с огнём такого сейчас не сыскать — все уже печь хлеб разленились. Солдату подают, а он складывает поданное в вещмешок, лежащий у него на обрубках ног и плачет.

По рассказам родителей, поездка происходила в 1947 году, ближе к осени. Карточки на продовольствие ещё не были отменены. Жилось всем голодно. Скорее всего, поэтому мне запомнилась великая щедрость — полкаравая белого хлеба и солдатские слёзы. Ведь взрослые дяди не должны плакать. Я силось вспомнить, как выглядели мои родители. И не могу. Не помню. А как бы хотелось вновь увидеть их — молодых и счастливых!

Но память возвращает мне лишь полкаравая белого хлеба и скрежет подшипников инвалидской каталки.

ВИТЁК И ВАЛЬТЕР

У нас было оружие, и мы каждый день воевали. А чем ещё

заниматься, когда война — вот она, ходит по двору, опираясь на палку, как израненный Кузьма Егорович, или на двух костылях, как дядя Петя Крюков, поморозивший промокшие ноги под Лугой и вынужденный потерять сначала одну, а потом и вторую из-за гангрены. Фронтовиками были и мои родители. А сколько этой самой войны шаркало, плакало пьяными слезами с полочки и с грошовой пенсии, пело надрывно жалостные песни, какие по радио не поют... Как тут не стрелять в фашистов и нам, парнишкам?

У меня была трёхлинейка, которую смастерил сам из подструганной в нужных местах доски и большого шпингалета — так похожего на затвор настоящей винтовки: вверх, на себя, вперёд, вниз, прицелился — огонь! У Витька такой не было. Когда начиналась игра, он доставал железяку — обломок кроватной спинки и с ней шёл в атаку. Но это разве оружие! И родителей у него не было, одна тётка Нина — вроде бы, милиционерша. А родители, как путано и вполголоса пояснял Витёк, продолжали отбывать службу в каких-то секретных спецчастях, чем сам Витёк несказанно гордился и перед нами этим хвастал.

Однажды он поманил меня в свой сарай. У всех жильцов в нашем дворе был свой сарай для дров, угля, разной хурды-мурды. А кое у кого там и куры водились. Хозяйки кур метили.

Кто чернилами, кто краской, чтобы не перепутать. У Витька куры были с малиновым ошейником. Мы забрались в сарай и сначала выпили без соли по свежеиспечённому яйцу. А скорлупу Витёк спрятал за чурбаки, чтобы тётка не зашухарила и не всыпала. Потом полез на поленницу под самую крышу и достал из-под доски нечто, завёрнутое в тряпку. Слез, развернул, и я обомлел: в тряпку был завёрнут настоящий пистолет.

— «Вальтер»! — сказал Витёк. Настоящий. Немецкий. Только заржавел.

В те послевоенные годы оружие не было редкостью. Много его осталось на местах боёв во вполне исправном состоянии. А уж сколько напривозили демобилизованные фронтовики, привыкшие иметь ствол под рукой! Даже мой отец много позднее признался, что привёз с фронта пистолет ТТ и парабеллум. Прятал в погребе, а погреб обвалился, и они пропали.

Я был зван Витьком как знаток оружия. У отца была немецкая двустволка. Когда он возвращался с охоты, моей обязанностью было чистить стволы от нагара сначала металлическим и щетинным ершами, а потом смазывать ружейным маслом.

Я осмотрел пистолет. Он не взводился. Очевидно, пребывание под крышей на пользу «немцу» не пошло.

— Эх, Витёк, надо бы в клеёнку завернуть.

— А теперь?

— А теперь надо в керосин на недельку-другую. А потом уже... Только я уезжаю к бабушке с дедом до самого конца лета. Вот вернусь, тогда...

Витька засопел недовольно, завернул пистолет и вернул его в тайник под крышей.

Прошло лето. Я вернулся и утром выбежал во двор. Витька во дворе не было. Но дверь в сарай открыта. Подбежал и увидел тётку Нину.

— А Витёк где?

— Дома я его заперла. Избегался весь. Сандалии уже в ремонт не берут.

— Тётя Нина, а дайте, я пистолет посмотрю, мы с ним догворились.

— Ка-а-ко-ой пистолет?

— Ну, вальтер ржавый. Я его в керосин положу.

— Ты что, мальчик? Где пистолет?

— Да вот там! — и я указал рукой на схрон.

Тётка побагровела:

— Никакого там пистолета не было. Никогда! Не ври! Ты понял, говнюк маленький! Никогда! Я вот вам покажу с Витьком!

Мне стало обидно. Я не врал. А она сказала, что вру.

Вечером, когда родители вернулись домой, я рассказал про свою обиду маме. Она пересказала отцу. Он потребовал, чтобы я рассказал всё от начала до конца. Помолчал и спросил:

— У Витька родители кто? Знаешь?

— Они в спецчастях...

— Воры они. Колька ещё перед войной в воры подался. Войну в лагере пересидел. Вышел, женился и опять загредел, и мать Витька, Нинкину сестру, за собой утянул. Он воровал, а она продавала. Его это оружие. Воровское. Понял?

Так и расстроилась наша игра в войну. И я перешёл на чтение книг. Кстати, и Витёк стал завзятым книгочеем. Книга мне сразу же попала хорошая — «Сын полка». Я дал ему почитать. А Витёк зачитал её безвозвратно...

БРАВОЙ ПЕСНЕ ВСЛЕД...

В ту пору солдаты ходили по городу строем и с песней. Для нас, мальчишек, не было ничего более волнующего, чем солдатский строй с покачивающейся щетиной трёхгранных штыков. Солдаты появлялись как бы ни откуда, из тех частей города, куда по своей малости мы ещё не проникали. Теперь-то я понимаю, шли они из старинных Михайловских казарм. Каблуки начищенных кирзачей били по булыжнику мостовой в такт громыхающей солдатской песне. Всем без исключения становилось ясно: от тайги до британских морей Красная армия всех сильнее!

Ясно, что не хор Александрова пел на марше. Скорее, было

бравое скандирование в такт ста двадцати шагам в минуту, как заведено задолго до того, как Русскую армию превратили в Красную. Но мы, всё наше дитячье сообщество, пребывали в неописуемом восторге! За такой песней можно было идти в любые дали дальние.

Стоял жаркий-прежаркий июль. Однако никаких скидок и отступлений от порядка не допускалось; карабин с примкнутым штыком, подсумки с патронами на поясе, шинельная скатка через плечо, вещмешок, сапёрная лопатка и, конечно же, фляжка в защитного цвета чехольчике — вот, сколько всего. Поэтому на лобная кромка пилоток уже была оторочена тёмной полоской пота.

— Раз, раз, раз, два, три, левой! — задавал темп капитан, шагавший слева. А замыкал строй солдатик с предостерегающим красным флажком. Хотя машины на улице тогда были скорее исключением, чем правилом, но ломовики ездили, а возчики — известное дело — мимо рта не проносили и больше полагались на лошадиную смекалку, нежели на помутившееся зрение.

— Айда за ними! — предложил Витёк мне и Серёньке.

— Куда? — опасливо спросил Серёнька.

— Они за линию идут. Там стрельбище! Пошли. Посмотрим, потом гильз наберём.

— Мне нельзя без спросу! — заканючил Серёнька. — Отец надерёт.

— А ты? — спросил меня Витёк. Или тоже...

Конечно же, и у меня отец не сахар и при случае воспитательных мер не жалел. Но признаться в этом, да ещё при всех, гордость не позволяла. И мы пошли вслед за солдатами. Сперва по растрескавшемуся асфальту тротуара. Потом асфальт сменился хорошо утоптанной землёй. Затем дорога поворотила направо и вниз в сторону железнодорожного переезда. Здесь лежала мягкая и тёплая пыль, и по ней бежать следовало вприпрыжку — а по-иному не получалось идти вровень со строем. Витёке хорошо — он старше, и ноги у него длиннее. И к хождению далеко от дома привычнее меня. А я вдобавок ещё и босой. Поскольку за сандалиями домой сбегать было нельзя: во-первых, солдаты уйдут, во-вторых, зачем лишние расспросы!

Дошли до переезда. Рельсы блестели и обжигали босые ноги. К тому и натоптал я их, поскольку к босому хождению непривычен. Дальше — влево. Ещё немного по колючей выгоревшей траве, и мы пришли.

— Эй, бойцы! — окликнул нас капитан. — Вы куда?

— Дядя командир! — ответил Витёк. — Мы с вами.

— Мы посмотреть, — добавил я.

— Посмотреть?! Призовут, тогда и насмотритесь. А сейчас, чтобы духу вашего тут не было!

— Дядя командир...

— Отставить разговоры! — И капитан начал отдавать команды солдатам, располагавшимся в окопчике.

Нам оставалось только подчиниться. Но уйти? Ну уж нет! Зря, что ли, шли в этакую даль! Мы отошли за спины солдат метров на двадцать, за границу стрельбища, и присели у кучи серой щебёнки рядом с рельсами.

Стрельбище... Много лет спустя, отец, читая вслух роман Симонова «Живые и мёртвые», вспомнил июнь сорок первого года. Он уходил на фронт добровольцем в числе первых. Их, обмундированных в х/б и обутых в ботинки с обмотками, привели на стрельбище за линию. Полковник с орденом Боевого Красного Знамени на груди, с тремя «шпалами» в петлицах диагоналевой гимнастёрки взял в руки «трёхлинейку», вогнал пять патронов в магазин и, стоя, выпустил пять пуль в мишень, изображавшую фашиста в рогатой каске: четыре — в сердце, а пятую — в лоб. Потом умело бросил осколочную гранату, громыхнувшую в рытвине, продемонстрировав, что прежде надо рвануть кольцо. Потом улёгся на заботливо расстеленную плащ-палатку и насквозь продырявил выстрелом из противотанкового ружья толстый круглый балансир от железно-дорожной стрелки. Затем зычно пояснил, что только так надо бить фашистов, и, скандовал: «По вагонам!», добавил, что

оружие выдадут по прибытию на фронт. Так и вышло: своё противотанковое ружьё отец осваивал уже под немецким обстрелом в окопе. Вернулся ли домой кто-то из ехавших с ним на фронт в теплушке, не знаю. Отцу, однако, повезло...

Это было то самое отцово стрельбище, но тогда я об этом и знать не мог. Мы сидели с Витком и слушали, как протрещали после команды «Пли!» три залпа по бумажным мишеням, развешанным на кольях. Затем солдаты собрали мишени, каждый свою, и отдали командиру. Отряхнули песок с обмундирования после команды «Оправиться!» и строем, взбивая сапогами дорожную пыль, зашагали в город.

Мы с Витком рванули к окопам за гильзами. Но их в окопах не было. Видно, гильзы велено было собирать и сдавать для отчётности по истраченным боеприпасам. Это был удар! У меня сразу заболели изнеженные, натоптанные по асфальту и камням подошвы. Я так разнылся, что Витёк до переезда даже тащил меня на закорках — всё же был он постарше и посильнее меня. А дальше я побрёл сам, загребая ногами ласковую, тёплую пыль.

Мы возвращались домой без трофеев, но всё-таки гордые, по видавшие то, чего никто из дворовых и не нюхал, твёрдо зная: Красная армия всех сильнее. А мы вырастем, пойдём служить

«срочную» и постреляем. Прикажут — не только по бумажным мишеням.

Дома пришлось во всём признать. И за дальний поход, как вы понимаете, меня не поощрили. Но бравую красноармейскую песню я запомнил на всю жизнь. И откуда мне было знать, что в оригинале припев её звучал так:

*Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой
рукой,
С отрядом флотских
Товарищ Троицкий
Нас поведёт на смертный
бой!*

СЛОЙКИН

Когда Слойкин шёл через наш двор к своему подъезду, тяжело ступая начищенными до неимоверной ослепительности хромовыми сапогами, всё во дворе стихало. Даже скорая на язык Шурка Дерябина в этот момент могла любое слово, даже не делимое на слоги, прервать тут же, даже посреди согласной. А он шёл себе и шёл. Такой весь из себя уполномоченный властью, упакованный в синий милицкий, хорошего сукна мундир со стоячим воротничком, с двумя рядами пуговиц, надраенных асидолом, перепоясанный офицерским, доброй кожи, ремнём с двойной португеей и кобурой на поясе. В кобуре, правда, никогда не было пистолета. Но это

не имело никакого значения. Достаточно форменной фуражки и синих галифе с красным кантом. Слойкин служил в милиции.

Он поднимался на третий этаж, шествовал по коммунальному полутёмному коридору мимо гудящих примусов, бросавших на стены синие, inferнальные отсветы из-под сковородок, мимо коптящих керосинок, на которых булькало в латаных кастрюльках немудрящее послевоенное варево соседей, заворачивал налево и всегда одинаково стучал в филёчатую дверь.

— Кто? — звучал из-за двери тоненький, всегда жалобный голосок жены.

— Я! — отвечал Слойкин.

Клацал кованый дверной крюк, и Слойкин скрывался за дверью своего жилища.

Он никогда не выходил во двор, ни по какому поводу. Например, покурить с мужиками-соседями. Кажется, он вообще не курил, хотя пайковые папиросы получал, и жена как-то приспособливалась их для житейских надобностей. Тем более, выйти во двор да раздавить, как говорится, баночку или отхлопать замусленными картами партийку в «Петушка». Да и о чём ему было говорить с ранеными, контуженными на фронте мужиками? А среди прочих сиживали во дворе и такие, что имели за плечами «ходку», да не одну. Правда, и Слойкину довелось применять оружие поздней осенью сорок первого, когда его

отправили участвовать в обла-
ве на дезертиров. Две обоймы
из трёхлинейки он выпустил по
чашьжнику, где по агентурным
данным они и скрывались. За
что Слойкин поимел медаль «За
боевые заслуги».

Но чего-то он всё-таки опасал-
ся и даже в дворовый сортир ни
по-большому, ни по-маленькому
не выходил. Жена выносила в
слив ведро, да и то к ночи бли-
же. Бывший танкист дядя Коля
с лицом, перекроенным шрама-
ми от ожогов, как-то августов-
ским ласковым вечером, заметив
жену Слойкина с полнёхонь-
ким помойным ведром, как бы
вскользь, вроде бы ни к кому не
обращаясь, но в голос вспомнил
начальника политотдела полка,
который предпочитал из танка
не вылезать, даже когда боя-то
не было. А нужду справлял че-
рез нижний люк танка.

Утром Слойкин шёл на служ-
бу, и всё та же неугомонная
Шурка провожала его потаён-
ным шипением: «Ишшшшш...»
Но лишь после того, как он вы-
ходил со двора. Звание его было
самое пустяшное — старшина с
Т-образными лычками на пого-
нах. Однако Слойкин был ма-
лой, но всё-таки частицей той
великой неодолимой силы, кото-
рую боялись все.

А сама служба его была про-
ста. Он стоял при входе в конто-
ру Госбанка. Но уже не с пустой
кобурой, а пистолетом в кобуре,
пристёгнутым для надёжности
к поясу особым ремешочком. И

взгляд его из-под козырька фу-
ражки не обещал ничего хоро-
шего тем, кто осмелится поку-
ситься...

ЧЁРНАЯ ТАРЕЛКА

Тарелка — чёрный металличе-
ский обод с перекладной, обтяну-
тый погребально-чёрной плотной
бумагой, висела, пришпиленная
вилкой к розетке, в комнате, где
мы обедали. Это был репродук-
тор проводного радио. Его ни
днём, ни ночью не выключали,
начиная с утренних часов 22
июня 1941 года. С нарастающей
сухой трагичностью извещал он о
наступлении германца на Москву
и вместе с завывавшими сирена-
ми предупреждал о появлении
бомбардировщиков, стараясь пе-
рекричать хлопанье зениток и
близкие разрывы бомб. Коман-
довал: «Отбой воздушной трево-
ги». Литым левитановским басом
раскатисто оповестил о разгроме
немецко-фашистских войск под
Москвой. И так, немолчно — все
дни и ночи до самой Победы.
Напротив, в красном углу, но
молча, полуобняв Сына, из про-
резей в окладе смотрела Пресвя-
тая Богородица. Все эти дни горя
неизбывного и Богородица с Сы-
ном, и тарелка уживались в не-
большом пространстве квартиры
на улице Новоселенской, дом 26.

Потом война отбушевала. Та-
релка отликовала вместе со все-
ми... И вновь захрипела, когда
опять начали перебирать народ,

Вскоре запылилось в Корею. Потом принялся умирать и умер-таки Сталин. Через малое время заговорил-заблажил Хрущёв о скором наступлении коммунизма, на что дед Семён, не верящий никаким посулам, тут же откликнулся:

— Теперь на кухне к крану с водопроводной водой добавят ещё два!

— Какие такие? — просто-душно поинтересовалась бабушка Лена.

— Один крантик с водкой, а другой — с красненьким. Пей по потребности. И платить не надо — деньги-то отменяют в коммунизме!

— Тыфу! — сказала бабушка. Подвыпившего деда она не жаловала. А потому такое грядущее изобилие её не очаровало.

А тарелка подрядилась изрыгать хулу на церковь и верующих. Редкий день обходился без душераздирающих рассказов о совращённых монашках, волосатых поповских пальцах, выбирающих из церковной кружки старушечьи копейки подаяний для ублажения собственных похотей.

— А ты всё несёшь им, да несёшь, — укорял дед бабушку, вернувшуюся из церкви. — А они, вон что...

Дед попов не жаловал, но и в неверующих себя не числил, находясь с юных лет под смурным обаянием графа Льва Николаевича Толстого.

Однажды, во время воскресного обеда тарелка опять принялась за своё. И без того чёрная, словно ещё гуще вычернилась, хотя, казалось бы, куда дальше? Она забубнила голосом какого-то попа-расстриги. Доставалось и Богу-отцу, и Богу-сыну, и Богу — Духу Святому и Пресвятой Деве. Себя расстрига также не жалел, обличая почём зря собственное корыстное криводушье. На мои бестолковые мозги говорение тарелки производило определённое воздействие. Тем более, среди непременных дисциплин в институте значился «Научный атеизм».

— Ты слышишь, бабушка! — сказал я. — Слышишь, что он говорит? Все в этой церкви твоей такие же... Из-за денег... Сами первые грешники.

Бабушка моя, мудрая Елена Александровна, построжев взглядом, ответила:

— Каждый, когда умрёт, сам ответит за своё; и за прегрешения, и за неверие. Предстанет пред лицом Господним. А радио... ТАМ оно не работает.

И, обернувшись к иконе, висевшей у неё за спиной, троекратно перекрестилась перед Казанской. Икона-то намолённая, давняя. Из Белопесоцкой слободы, что на Оке, из тамошнего мужского Свято-Троицкого монастыря. По рассказам, спасена во время погрома, учинённого святотатцами, похвалявшимися, что «таперича» ихняя власть навеки.

А тарелка? Мы оставили её в квартире, когда дом пустили под снос. Икону же дед забрал с собой, хотя попов до самой своей смерти не жаловал. Видно, на всякий случай...

ДВА МЕСТА

— Там, возле гаража, его и найдёте, — сказала Валентина Ефимовна — повелительница всего на студии телевидения, что стояло, лежало, двигалось и снимало. — Виктор Борисыч его зовут. Он такой... немолодой уже. — И вручила мне путёвку.

Так и есть: на свежевыпавшем снежке стоял автобус, одним своим видом вызывавший о пощаде (казалось, он и без водителя готов двинуться в последний путь — к месту сбора металлолома). А подле автобуса притулился столь же поживший «козлик» — ГАЗ-69. И в автобусе, и в «козлике» водителей не было видно.

— А кто тут Виктор Борисыч? — громко спросил я.

— Это я. — послышался голос из-под «козлика». Задёрнулись ноги, торчавшие из-под машины, и оттуда выполз с гаечным ключом в руке немолодой человек в пальто, пошитом из дорогущего тёмно-синего сукна с роскошным каракулевым воротником и в дорогой же пыжиковой шапке. Обычно в таких прежде щеголяли ответственные работники партсоваппарата, одним своим

видом подчёркивая, что шапка — по Сеньке, а они — это вам не все остальные.

Виктор Борисыч уселся на водительское место, машина завелась с одного тычка, и мы поехали. Обычное дело в дороге — разговоры. Но разговор не вялся. Он, правда, спросил, как меня зовут и откуда взялся. Работник-то я был новый. Я ответил, ожидая ответной информации. Но он молчал. Замолчал и я. Так и молчали туда и обратно все 140 километров, если верить спидометру. Только при въезде в город на обратном пути я не утерпел:

— Что же вы под машину в таком хорошем пальто?

— Исправные тормоза, — легонько усмехнулся он в ответ, — дороже пальто. Проверил на дорожку.

Многажды потом приходилось выезжать на съёмки с Борисычем — так его все студийные звали запанибрата. И всякий раз я пытался разговорить человека, который, чем дальше, тем менее казался мне обычным водилой, среди которых попадались немолчные говоруны, балаболы-анекдотчики да матерщинники. Я не в осуждение; иначе за рулём сидеть тягостно. И скучно, и в сон клонит, и любопытство одолевает — куда едем, что снимать будем. И ещё одна чудинка отличала его от прочих. Никогда и нигде он не обедал с нами. Особенно в сельских столовых.

С одной стороны, понятно — сельский общепит, что минное поле. Но с другой — горячего похлевать — милое дело.

— Виктор Борисыч, а что так?

— У меня с собой картошка по-гуцульски. Да и не надо мне много.

— По-гуцульски?

— Ну да. Варится в круто-солёной воде. Долго лежит. Не портится.

— Вы гуцул?

— Я там служил. После войны. Леса от бандер обрабатывали.

— Солдат?

— У нас одни офицеры. — И замолчал. Долго молчал, километров сорок. А потом добавил: — СМЕРШ. Слышал такое слово?

И опять молчок. Думаю, изучал меня — стоит ли откровенничать. Всё же, журналисты — особая категория. Заполосные. Говорить начинают порой прежде, чем до конца додумают. Провозгласят и, как средь двора, выставятся гордо — и не подходят, того и гляди, заклюют. А Борисыч... Служба в тех самых органах, которые вечно внутри, а не напоказ, разговорчивости не способствует. Месяца через два, однако, разговор наш продолжился, когда мы вновь оказались наедине:

— А когда генерала Абакумова — начальника вашего — Сталин арестовать велел, вы где служили?

Борисыч посмотрел на меня, как с двух стволов выстрелил. И

я миг понял, как он там, в Карпатах, укрывшись за смерекой*, выцеливал бандита. Наповал, с одного выстрела.

— А меня сюда, с понижением. В сельский район, начальником отделения.

— Тут тоже враги?

— Бумаги перебирал. Да от правлял кое-кого, куда приказывали.

— Куда же? На Кольму?

— Далась вам эта Кольма... Ближе. Тогда Волго-Дон строили. Нужна была рабсила. Приходит шифровка: «Отгрузить два места». Смотрю картотеку — бывшие кулаки все старые. Ага! А вот этих можно — бывшие военнопленные. Они, конечно, фильтрацию прошли, даже в армии отслужили. Но плен есть плен. Еду, забираю... Ну, и так далее...

Борисыч вёл машину, крепко вцепившись в руль, и пристальнее, чем было нужно, смотрел на дорогу. Руки у него мелко и неостановимо дрожали.

— Виктор Борисович! У вас и пенсия должна быть приличная, офицерская. Зачем шоферить, себя мучить?

— А когда за рулём — я не выпиваю... — И снова замолчал километров на шестьдесят.

Когда на студии решили к очередному юбилею создать галерею фотопортретов наших,

* Смерека — карпатская ель

тогда ещё живых фронтовиков, попросили их надеть награды для фотографирования. Самый большой «иконостас» оказался у Борисыча. Награды все сплошь боевые. Были ли среди них знаки отличия за «два места» — не знаю. Вскоре после фотографирования спрашивать было уже не у кого...

Боже милостивый! Пошли ему там, где Ты управляешь, drog не разбитых. И чтобы можно было водочкой душу умягчить. Хотя бы изредка...

СОСЕДУШКА

Соседи по двору звали его Кузьма Удыч. С именем понятно, а отчество — хоть стой, хоть падай. Сухопарый, нескладёха во всём: от выражения лица, застывшего в непреклонной суровости, до форменного кителя, болтавшегося на вдавленных плечах, как на швабре для мытья полов. Служил он каким-то совсем мелким, но всё ж начальником на почтамте. Кажется, в отделе доставки, и там, поговаривали, почтальонок всячески тиранил. Ходил странной, как бы ныряющей походкой. Не отказывался закурить, когда угощали, хотя и не курил. Но, прикуривши предложенную, не затягивался, а отводил от себя руку с потухающей тут же папиросой.

Кузьма Удыч повадился к нам в гости. Сначала изредка, а потом и регулярно, как по расписанию

стал заглядывать. В основном, чтобы с папой запросто, по-соседски поговорить о том-о сём. Потчевать гостя в те начальные пятидесятые годы было особо нечем, да он и отказывался, вроде бы из скромности, но если мама всё-таки ставила перед ним и отцом два стакана чая в подстаканниках, он возглашал всякий раз, как бы подшучивая.

— О! Чай «Жидок»! А я вот думал взять с собой конфетов — «подушечек», к вам идучи. Хвать! А они у нас как раз кончились. Так что ты не журись, — говорил Кузьма, обращаясь ко мне. — В следующий раз непременно прихвачу.

Кстати, конфетов этих от него я так и не дождался.

А на дворе стоял тогда январь. Каникулы завершились, будто их и не было вовсе. И вновь заскрежетал с подвизгиванием голос школьной директрисы во время переменок с требованием прекратить в коридоре беготню и толкотню — ведь вы же пионеры! Скрежетал и отравлял без того короткие минуты воллошки вольной.

И вот, вечерочком Кузьма Удыч опять заглянул с медицинскими вопросами; к родителям-медикам, случалось, заглядывали соседи, а больше соседки, к маме пошущукаться о чём-то таком «непривсехшном». Или проконсультироваться о пользе красного стрептоцида, которым тогда пользовали

от всех болезней. Кузьма же расспрашивал о здоровье вообще и о том, можно ли ложиться в больницу, или не ложиться, потому как залечить могут до смерти. Вот это «до смерти» мне и врезалось в память. Наверно, потому, что из-за этого разговора я наделал ошибок в тетради по арифметике, которая и без того казалась мне наукой безжалостной также до смерти. Уже и чай «Жидок» был выпит, и разговор шёл по второму и третьему кругу, а сосед всё сидел и сидел. Мама ушла в спальню, отец вкатил мне подзатыльник за ошибки по арифметике и две кляксы в тетради, а Кузьма Удыч продолжал расспрашивать про больницу и врачей всех подряд, даже про акушеров-гинекологов, переговариваясь с ушедшей в спальню мамой через полуприкрытую дверь. Станный был, как я теперь понимаю, этот разговор. Сосед говорил многослойно, повышая голос к концу запутанной фразы так, что последнее сказанное слово будто повисало в дыму папиных папирос.

— Юра, — призывала мама из спальни, — хватит тебе курить! У Кузьмы Удыча голова разболится, ему и вправду госпитализация потребуется.

— А вот взять профессора Альтшуля, — продолжал сосед. — Если, например, язва желудка, как у меня, да с прободением. А?

— К нему! — отвечал отец. — Альтшуль по язвам дока! А что? Достаёт?

— Да нет! Я так! К примеру... Всё-таки хочется знать... А? Имею я право, как язвенник ещё с войны?

— Тем более, к профессору!

— Значит, тебе Георгий Васильевич, Альтшуль этот самый, нравится? А? Да?

— Абрам Самойлович — профессор. Кафедрой заведует. Сам оперирует...

— То-то и оно, что сам. — Сосед зачем-то, как бы в недоумении развёл руками. — Зачем самому-то? Писал бы себе свою науку в затишке... А он с ножом к человеку приступает.

— Со скальпелем...

— Известное дело... Со скальпелем... А человека не стало. Или таблеточки... да не те, что надо. Да... Ну, я пошёл. А то вам спать...

После его ухода со своей половины явился дед, также врач.

— Что, Юрка? — спросил дед. — Думаешь, опять началось?

— Не знаю, папа... Не знаю.

— Но мы фронтовики, — в халате показалась из спальни мама.

— Иди спать, — прикрикнул на меня отец. — Сидишь, уши развесил...

— Боюсь, что началось, — сказал дед, держась рукой за левый бок.

Перед войной он каким-то чудом, а вернее, благодаря врачебной специальности, уцелел. Избежал расстрела, хотя был помечен, как враг народа и в лагере

побывал. Это был вечер того дня, когда газеты опубликовали сообщение об аресте извергов, врачей-отравителей из Лечсанупра Кремля, что залечивали до смерти вождей партии.

Какое отношение к этой истории имел наш сосед — судить за давностью лет не берусь. Во время войны он, как сам откровенничал отцу, управлял подразделением женщин — военных цензоров, перлюстрировавших письма фронтовиков на предмет выявления-разглашения секретных сведений, а также панических слухов. Звали же соседа полностью и по-настоящему Кузьма Иудович. Такое у него было необрезанное имя-отчество.

Неблагозвучно, конечно. Но, что поделаешь: досталось в наследство от отца — в далёком и проклятом прошлом — отрёкшегося от сана дьячка в деревенской церквушке. А выбрано имя мракобесом-попом, крестившем его отца тем июньским днём, когда поминают Иуду. Не того, который Христа продал, а апостола Иуду — Христова брата. Что тоже не сильно плохо здорово для кандидата в члены ВКП(б).

Теперь, по прошествии стольких лет, я понимаю, что Кузьма Удыч на наше семейное счастье не услышал того, что поручено было ему услышать и потом донести куда следует...